# Жесты

# Джон Апдайк

Этот жест Джоан был для него в новинку.

Она позвонила ему со станции — как догадывался Ричард, после обеда с любовником. Он проводил субботу с детьми, в доме, где Маплы раньше жили вместе. Ее новая «вольво» стояла под домом, и было удобнее поехать на ней, но он почему-то несколько минут не мог включить первую передачу. Пока он доехал до центра города, она уже успела спуститься по главной улице и подняться на холм, к парку. Стоял теплый сентябрь, листья еще не начали опадать, но воздух был кристально прозрачен. Они издали заулыбались друг другу. Она открыла дверцу, села и пристегнула ремень, чтобы прекратился напоминающий сигнал. Она разрумянилась от ходьбы, городская одежда смотрелась на ней униформой, при ней были маленькие пакетики — результаты шопинга. Ричард попытался развернуться на узкой улице, и пока он тормозил и переключался на задний ход, она начала:

— Дорогой...

Тут он и увидел этот ее странный жест — беззвучное постукивание пальцами одной руки по ладони другой, что-то среднее между веселыми аплодисментами ребенка и призывом к вниманию взрослого человека.

— Я решила тебя спровадить. Хочу попросить тебя покинуть наш город.

У него сразу участилось сердцебиение. Он тоже этого хотел.

— Хорошо, — сказал он осторожно. — Если ты считаешь, что справишься сама.

Он покосился на нее, проверяя, не шутит ли она; в ее серьезность ему было трудно поверить. Почтовый фургон, раскрашенный в красно-бело-синей гамме, затормозил позади них и засигналил — скорее напоминание, чем нагоняй, Маплов в городе знали. Они прожили здесь почти все годы своего супружества.

Ричард нашел заднюю передачу и завершил разворот. Новая, еще не обкатанная машина полетела как птица: казалось, аплодисменты хозяйки придали ей бодрости.

— Все застряло в неподвижности, — объяснила она. — Нужен толчок.

— Я ее не брошу, — предупредил он.

— Можешь не повторять, уже слыхали.

— Ты тоже, как я вижу, не бросаешь его.

— Бросила бы, если бы ты попросил. Ты просишь?

— Нет, боже сохрани! Он — все, что у меня есть.

— Вот видишь. Отправляйся куда хочешь. Думаю, в Бостоне детям было бы интереснее всего, и тебе нескучно.

— Согласен. Когда, по-твоему, это должно произойти? — В ее профиле появилась хрупкость, и он боялся сказать лишнее слово, нагрубить. Он затаил дыхание, пытаясь приподняться над дорогой вместе с машиной, позаимствовать ее легкость. У старого каменного моста они наехали на колдобину. Лицо Джоан скрыл сигаретный дым.

— Как только ты найдешь себе жилье, — ответила она. — Через неделю. Это слишком быстро?

— Пожалуй.

— Грустное известие? Я поступаю с тобой бесчеловечно?

— Нет, все чудесно, ты, как всегда, сама мягкость и справедливость. Все правильно. Просто, я сам не смог бы этого сделать. Не понимаю, как ты собираешься жить здесь без меня.

Он увидел уголком глаза, как она поворачивается, сам тоже повернулся. Она вспыхнула, выражение лица стало озорным, дерзким. Наверное, она пила за обедом вино.

— Запросто! — заверила его Джоан. Он знал, что это блеф, что она храбрится, просит передышки. Но он промолчал, отказавшись от спора. Теперь ее гордость была его союзницей.

Дорога виляла между почтовыми ящиками, между деревьями, вид которых все же свидетельствовал о начавшейся осени.

— Чья это идея — его или твоя? — спросил он.

— Моя. Эта мысль посетила меня в поезде. Просто, Энди сказал, что я все время тебя кормлю.

Когда кончилось лето, проведенное ими врозь, Ричард поселился в лачуге на берегу моря, в двух милях от дома; он пытался себе готовить, но гораздо проще для него самого и лучше для детей было ужинать у Джоан. Он привык к ее стряпне; собственно, его тело, каждая клетка, состояло из приготовленной ею еды. После ужина они выпивали по рюмочке; в это время дети (двое уехали учиться, другие двое еще жили дома) делали уроки, смотрели телевизор. Выпивка порождала разговоры и откровения, резкие слова, покаянные слезы, иногда даже карабканье наверх, в постель, из чрезмерной любви к своей второй половине. Она была права: ситуация сложилась нездоровая, тупиковая. Двадцать лет, приличествующие для взаимной любви, истекли.

На второй день поисков он нашел в Бостоне подходящую квартиру. У риелторши были рыжие волосы, круглая попка и маска из грима, средство скрыть молодость. Поднимаясь и спускаясь по лестницам у нее за спиной, Ричард был счастлив и одновременно напуган. Устав от него больше, чем он от нее, она с трудом засунула в замочную скважину ключ, толкнула плечом дверь и каким-то беспомощным жестом предложила ему оценить квартиру.

На полу не оказалось обычного ковра от стены до стены, и это был не потрескавшийся паркет, а черно-белая плитка, как на картине Вермеера. В окне он увидел небоскреб и решил, что выбор сделан. Небоскреб, знаменитый бостонский долгострой, был прекрасным бедствием, славился именно своим плачевным состоянием (с него все время обваливалось стекло) и красотой: архитектор являлся вдохновенным творцом. Он мечтал о невидимом и при этом огромном здании, стекла которого должны были отражать небо и старый кирпичный Бостон, дому полагалось таять в небесах. Вместо этого стекла с отражением небесной голубизны падали на улицу, поэтому их постепенно заменяли уродливой черной фанерой, ничего не способной отразить. Кое-какая отражающая площадь на фасадах все еще оставалась, и из кривого старого окошка внезапно подвернувшейся квартиры можно было любоваться этой колоссальной голубизной, вертикальной родственницей горизонтальной голубизны моря, которая приветствовала Ричарда по утрам в промозглом холоде его нетопленой хижины.

— Прекрасно! — сказал он своей рыжей проводнице, та в ответ приподняла угольные бровки. Договор об аренде он подписывал дрожащей рукой; в графе «семейное положение» написал «раздельное проживание». Свою новость он сообщил по телефону-автомату не жене, которая расстроилась бы, а любовнице, тоже находившейся далеко.

— Нашел! И уже подписал договор о найме. Среди всей этой писанины оказалось всего одно простое предложение: «Никаких водных кроватей!»

— У тебя дрожит голос.

— У меня чувство, что я породил черную дыру.

— Не хочешь — не надо. — По тону Рут и по ее паузе Ричард догадался, что она берет сигарету или пепельницу, готовясь к сеансу утешения возлюбленного.

— Как раз хочу. Она тоже хочет. Все хотят, чтобы я это сделал! Даже дети. Хотят — или делают вид.

Последнюю фразу она проигнорировала.

— Опиши мне квартиру.

Он запомнил только клетчатый пол и вид на голубое бедствие, отражающее плывущие в небе облака. И еще рыжую риелторшу. Та объяснила, где покупать еду, где прачечная. Ему понадобится прачечная?

— Звучит недурно, — ответила издалека Рут, когда он все ей выложил. Потный черный почтальон и еще один страждущий ждали, скоро ли он освободит телефонную будку. Он уже ненавидел город с его столпотворением, с его ненасытностью.

— Что тут недурного? — не сдержался он.

— Ты расстроен? Не хочешь — не делай.

— Перестань повторять одно и то же! — Оба соблюдали тягостную формальность: делали вид, что свободны внутри своих рушащихся браков, что могут поступать как им вздумается. В этой игре под названием «виноватая уклончивость» Рут достигла вершины мастерства. Ее слова часто казались не словами, а черными шашками на игральной доске, данью жесткому этикету. Не то что слова его жены, всегда раскрывавшиеся внутрь, пропитанные смыслом.

— Что еще мне сказать, кроме того, что я тебя люблю? — спросила Рут. С дальнего конца телефонной линии донесся резкий выдох. Он представил себе этот жест: отвернувшись от трубки, она натужно выпускала воздух; у нее была манера изображать крайнее нетерпение, даже если она никуда не торопилась, тушить сигарету, выкуренную только наполовину, крошить ее нетерпеливыми пальцами, словно прерванную на середине сердитую фразу. Его уязвляла ее нарочитая небрежность, как уязвлял любой напрасный жест. Ему захотелось бросить трубку, но это тоже был бы напрасный жест, поэтому он аккуратно повесил ее на рычаг.

Став одиноким жильцом, он убедился в своей скаредности. Выпроводив женщину, он спешно восстанавливал холостяцкий порядок, опорожнял пепельницы, которые после Рут были набиты длинными, преждевременно умерщвленными телами, а после Джоан — окурками немногим длиннее фильтров. Женщины, как он подмечал с неожиданным удовольствием, если и изъявляли готовность у него прибрать, то это был только формальный жест: кровать после них оставалась развороченной, посуда грязной, пепел они систематически стряхивали во все три пепельницы (стеклянную, глиняную и импровизированную — крышку от кастрюльки), словно это были базы в бейсболе, касаться которых требуют правила игры. Опорожняя их, он с улыбкой избавлялся как от страшноватого морга, устроенного Рут, так и от аккуратного гнездышка, свитого из фильтров Джоан, скромного, словно белая галька в вазе для нарциссов. Когда он критиковал Рут за тушение недокуренных сигарет, она возражала с немигающей уверенностью в правоте своего внутреннего устройства, что для нее, для ее здоровья гораздо полезнее не тянуть с тушением сигареты; разумеется, она была права, лучше разрушать все вокруг, чем саму себя. Рут воплощала собой любовь, жизнь, за это он ее и любил. Но навязчивая бережливость Джоан, ее невысказанный инстинкт смерти были ему так же знакомы и дороги, как ее экономный почерк и упругие темные колечки волос на лобке, поэтому при опорожнении ее пепельниц Ричард тоже улыбался. Эта его улыбка также была сродни жесту, предназначенному для зрителя. Он начал лицедействовать еще перед родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами, перед домашними питомцами, потом развил свой талант перед соучениками и учителями, позже достиг новых высот перед собственными детьми, сначала восхищавшимися им, поэтому даже в одиночестве не мог перестать кривляться. Для этого он обзавелся компаньоном, обожателем извне — голубым небоскребом. Его присутствие он постоянно чувствовал.

При своей голубизне небоскреб был еще и зеленоватым, чем превосходил небеса. Сначала Ричард недоумевал, почему отражаемые им облака плывут в ту же сторону, что и облака позади него. Потом, призвав на помощь пространственное воображение, он сообразил, что зеркало не отправляет наши движения в противоположную сторону, хотя перемещает нам уши и заставляет дергаться рот, так что даже лицо любимой выглядит в зеркале уродливым, таким — вот странная мысль! — каким всегда видит его она сама. Он понял, что зеркало, стоящее в гуще марширующей армии, не повлияет на ее движение; нередко отраженная половинка одного облака продолжала половинку другого, частично прятавшегося за фасадом; реальность и отражение двигались вместе, пронзаемые, как стрелой Купидона, следом реактивного лайнера. Бетонно-зеркальное бедствие высвечивало самое сердце города. По ночам оно выглядело вереницей мутноватых огней, похожей на плывущий в небе изящный корабль, в дождь или в туман совсем пропадало, хотя в непогоду Ричард с особенной отчетливостью видел кирпичные трубы и железные шпили города. Даже становясь невидимым, город никуда не девался, как никуда не девался сам Ричард, его душа. Он пытался анализировать логику замены окон, соотношения стекол и дыр. Никакой логики он не выявил, кроме неспешной работы трудяг невидимок, с пчелиной безмозглостью освобождавших и снова заполнявших стеклянные ячейки. Задерживаясь у своего окна надолго, он мог наблюдать явление сродни конденсации капли росы: пространство, только что ничего не отражавшее, начинало блестеть, отражать внешний мир, становилось зеленовато-голубым. Минуло несколько дней, прежде чем до него дошло, что на старом волнистом стекле у самого его носа призраки, то есть прежние жильцы, оставили нанесенные алмазом инициалы, имена, даты; комичнее всего была самая глубокая надпись, две трогательные строчки:

«Этим кольцом

Я с тобой обручаюсь».

Какой же богатый слой прожитых жизней накрывает невидимым куполом радости нынешнего города! Шагая по улицам, он поражался собственному счастью. Он боялся грусти, чувства вины, скуки. Вместо этого его дни оказались туго набиты делами по списку, походами за едой и предметами быта, встречами с такими сомнительными заменителями жены, как прачечная-автомат, где студенты изучали Гессе, пощипывая подбородки, пока их одежда ворочалась в барабанах, а молодые чернокожие домохозяйки, мурлыча себе под нос, складывали свое белоснежное постельное белье. Что за неожиданное наслаждение — идти в темноте домой, прижимая к себе горячую, как свежий хлеб, чистую одежду, мимо эркеров Бэк-Бэй, мерцающих, словно выставочные стенды! Он чувствовал собранность, бодрость, сознавал свою правоту в этот час, который он, живя в пригороде, проводил бы уже со второй рюмкой, приходя в себя после напряженной дороги домой и ожидая ужина. Ему нравилось носить домой съестное, нравилось готовить себе и потом съедать приготовленное, внимая органу Баха или саксофону Сиднея Беше и заглядывая в книгу на специально приобретенном для этой цели пюпитре. Ему нравилась старая стандартная игра: потребление пищи, прежде чем она испортится, молока, прежде чем оно свернется. Ему нравились смелые самолеты в буром ночном небе — второй, более тонкий городской слой поверх первого, пение полицейских сирен, оповещавшее о чужих, не его бедах. Такое счастье не могло длиться долго. Это был антракт, отпуск. Поразительно чистый и справедливый отпуск, прямолинейный, достойный, хотя и подпорченный внезапными ямами страха и растерянности. Каждому часу требовалось место в графике, иначе грозил провал. Ричард двигался, как жучок-водомерка, как рикошетящий от воды камешек, по глянцевой поверхности своей новой жизни. Он повсюду бродил пешком. Однажды подошел к основанию голубого небоскреба, своего компаньона и очевидца. Громадина вызывала ужас. Тщательно огороженные, обвитые колючей проволокой тоннели, охраняемые лающими полицейскими, защищали пешеходов от падающих стекол, а владельцев здания, уже потерявших миллионы, от новых исков. На тесную стройплощадку, тонувшую в какофонии звуков, со всех сторон наползали грозные самосвалы. Нижние этажи уже были заколочены мрачной черной фанерой; казалось, что здание, наверху такое воздушное, внизу пустило мерзкие извилистые корни. Больше Ричард в ту сторону не ходил.

Когда его навещала Рут, они устраивали игру: натирали средством «Брило Пэд» одну белую клетку пола а-ля Вермеер, что со временем обещало воцарение чистоты на всей площади. Черные клетки игнорировались. Голая Рут, стоящая на коленях, походила на упитанную лошадку: грива длинных развевающихся волос, мягкие груди, болтающиеся в такт широким круговым движениям. Имелась и нижняя грива — таковой при обзоре сзади выглядели светлые прямые волосы у нее между ног. Из-за этой позы ей редко удавалось привести в порядок более одной клетки за один раз. Когда Ричард был один, он распоряжался своим временем аккуратно, но у них двоих оно пускалось вскачь. Поговорить удавалось разве что в конце, когда она уже бралась за ручку двери.

— Наверное, на закате это здание выглядит потрясающе? — спрашивала она.

— Я люблю это здание. И оно меня любит.

— Нет, тебя люблю я.

— И не хочешь мной делиться?

— Не хочу.

Квартира вызывала у нее хозяйские чувства; когда он говорил, что Джоан тоже приходила и просто так, «смеха ради», спала с ним, своим мужем, Рут орала в телефон:

— В нашей постели?

— В моей, — поправлял он ее с несвойственной ему твердостью.

— В твоей, — уступала она хриплым, как у заспанного ребенка, голосом. Когда разговор наконец иссякал, ему требовалось отдохнуть, глядя на неодушевленного друга-гиганта, одна сторона которого становилась розовато-лиловой, другая небесно-голубой, с отражением перистых облаков. Он читал на нем, как во взгляде бессловесного зверя, историю о красоте и о мучении, об обреченной на гибель простоте, о времени. Все краски поглотит угольная мутность, и воцарится ночь. Ричард видел все хуже и с раздражением читал в сотый раз бесстыдную, благочестивую надпись, скучную мольбу, подожженную пламенем заходящего солнца:

«Этим кольцом

Я с тобой обручаюсь».

Рут перестала носить обручальное кольцо несколько месяцев назад. Являясь к нему на ночь, она нанизывала на голый палец колечко с бриллиантом — наследство, неохотную уступку надувательству. Когда она протягивала руку к окну, к свету, по комнате катилась планетарная система радуг, посылавшая сигналы небоскребу. В нью-йоркском отеле она признавалась, что недовольна отказом от собственной фамилии ради фамилии Ричарда.

— Так удобнее, — объяснял он. — Это жест.

— Но мне нравится быть той, кто я есть сейчас, — не унималась она. Это и была ее главная драгоценность, нерушимая и ослепительная: она нравилась сама себе.

Однажды на Манхэттене они разлучились, она вернулась раньше его и попросила ключ, назвав номер комнаты. У нее спросили фамилию — так в отеле было принято, одного номера было мало.

— Какую же фамилию ты назвала? — поинтересовался Ричард в паузе.

Ее отсутствующий взгляд свидетельствовал о том, что она снова колеблется, как тогда в гостиничном вестибюле. До замужества она была учительницей начальных классов, и эта манера оставалась у нее до сих пор: строгость, вытаращенные глаза, командирский тон; он представлял ее у доски, перед целым классом маленьких непосед.

— Я назвалась миссис Мапл.

— Правильно сделала, — с улыбкой одобрил Ричард.

Пригласить Джоан на ужин казалось чем-то противозаконным. Она сама предложила ему поужинать вдвоем «забавы ради», после одного из воскресений, проведенных им с детьми. Он прожил в Бостоне уже два месяца, старые привычки сменились новыми, теперь было соблазнительно побыть без детей, предпочитавших скучать у телевизора, а не в обществе этого суетливого визитера.

— Хватит твердить мне, что тебе скучно! — прикрикнула она на Джона, самого послушного из детей, вызывавшего у отца наиболее сильное чувство вины. — В четырнадцать лет все скучают. Я в четырнадцать лежала и читала научную фантастику, а ты лежишь и смотришь свое кун-фу. Я хоть читать училась.

— Мне интересно, — возразил Джон срывающимся подростковым голосом, боясь, что его отвлекут от особенно животрепещущего эпизода медленного тай-чи. Живя здесь, Ричард смотрел с ним эту программу достаточно часто, чтобы признать, что она в каком-то смысле неплоха: восточная невозмутимость героя, иногда оживавшего от приступов мистической ярости, учила ребенка некой этической системе, подобно тому как Ричард впитал правила поведения из дешевых кинофильмов и комиксов; беспристрастности его учил Богарт, учтивости и бесшабашности — Эррол Флинн, двойственности и лживости — Супермен.

Он опустился на одно колено перед диваном, на котором валялся его сын с пушком над верхней губой и по-мужски черными бровями, упорно таращившийся на мерцающий экран; сам Ричард чуть не дал петуха, когда спросил:

— Может, было бы не так скучно, если бы папа по-прежнему жил здесь?

— Н-е-е-е-т! — тут же последовал нетерпеливый ответ, словно вопрос давно ожидался. Он это серьезно? Он ни на мгновение не отвел глаз от экрана — может, из страха выдать себя, а может, от неподдельной скуки, внушаемой ему родителями, их жестами. То ли дело телевизор: там жесты убивали. Ричард сменил свою коленопреклоненную позу мольбы на вертикальную, услышав, как спускается по лестнице Джоан. Она приготовилась к выходу, надела нарядное черное платье с фигурным вырезом и с отделанным мексиканским серебром воротником. Он насторожился. Иначе он не мог.

Но после коктейлей, морепродуктов и вина его настороженность стала неуместной, и он, глядя на такое знакомое и одновременно такое чужое лицо напротив, услышал собственный голос:

— Она красотка, и она меня любит. — Он сам смутился от своих слов, как сын, обнаруживший, что мать, изображающая вежливое внимание, на самом деле совершенно безразлична к его рассказу о спортивном соревновании. — Только она все выкладывает начистоту и хочет, чтобы ей тоже все выкладывали. Это как опять угодить во второй класс. Хуже всего то, что при всей этой откровенности, при всем замечательном сексе она для меня все еще не такая реальность, как... как ты. — Он осекся: все-таки зашел слишком далеко.

Джоан положила левую руку, по-прежнему с обручальным кольцом, на скатерть — разумный, уравновешенный жест.

— Она станет реальностью, — заверила она его. — Это дело времени.

Внешне все выглядело по-прежнему. Официантка, раньше учившая их детей в воскресной школе, приветствовала их так, как будто их брак оставался в прежней нетронутости; они посещали этот ресторан три-четыре раза в год и не нарушили традицию. Они были знакомы с рыжим подрядчиком, построившим этот псевдоантичный флигель лет двенадцать назад, обанкротившимся, удравшим из города, но, как ни странно, не упавшим духом. Память Ричарда металась между столиками. Другая пара, постарше Маплов — муж некогда состоял вместе с ним в городском комитете, — подошла к их столику с обязательными американскими улыбками и веселыми приветствиями. Не знают? Хотя, какая разница, в этой стране все временно. Маплы в ответ дружно поприветствовали их; только когда пожилая пара удалилась, они перевели дух. Джоан проводила взглядом две спины.

— Интересно, что такое есть у них, чего не оказалось у нас, — сказала она.

— Возможно, у них было меньше, вот они и не ждали большего, — предположил Ричард.

— Это слишком просто. — Она не столько сопротивлялась его завуалированным комплиментам, сколько была за них признательна. Сопротивляйся же!

— Как, по-твоему, дела у детей? — спросил он. — Джон какой-то замкнутый.

— Он такой и есть. Хватит к нему цепляться.

— Просто не хочу, чтобы он вообразил себя твоим маленьким мужем. Дом теперь кажется таким огромным!

— Это ты мне говоришь?

— Прости. — Ему действительно было стыдно, подтверждением чему были его руки на столе ладонями вверх.

— Просто поразительно, что двоим людям перестало хватать целой бутылки вина! — воскликнула Джоан.

— Заказать еще одну? — Втайне он пришел в смятение: расточительство! Увидев это, она сказала:

— Нет, просто перелей мне половину своего бокала.

— Можешь выпить весь, — ответил он, делая так, как ему сказали.

— Говоришь, у вас с ней замечательный секс?

Этот вопрос застал его врасплох, он испугался нежелательного развития беседы. Они с Рут придерживались этикета независимого адюльтера, а с Джоан надо было подчиняться некоему кодексу раздельного проживания.

— Так всегда бывает, когда двое не муж и жена.

— Зуб даешь, белый чувак? — Глотнув его вина, Джоан стала неудержимо веселой. Она приблизилась к нему настолько, насколько позволил стол. — Ты должен обещать, — слово «обещать» она сопроводила жестом негодования на саму себя, — никогда никому этого не говорить, даже Рут...

— Наверное, тебе не стоит мне это рассказывать. Не надо.

Он понял, почему до сих пор она была такой немногословной; ей давно хотелось поговорить о своем любовнике, он грел ее изнутри, как растущий плод. Теперь она решила его выдать.

— Прошу тебя, не надо! — сказал Ричард.

— Что за формализм! Ты единственный, с кем я могу поговорить. Из этого ничего не следует.

— Ты говорила так о том, что мы с тобой спим в моей квартире.

— Она против?

— Еще как!

Джоан захохотала, и Ричард в тысячный раз поразился совершенству ее зубов, этих ровных, закругленных, белоснежных, очерченных губами доказательств безупречности черепа и незапятнанности души. Ликуя и торжествуя, она принялась откровенничать про себя и Энди: как он воевал с гостиничным персоналом из-за отсутствия полотенец в снятом на несколько часов номере, как он всякий раз засыпает после секса ровно на семь минут. Ричард много лет знал этого Энди — стройного смуглого эксперта по корпоративному праву, разведенного участника изощренного слияния бизнес-гигантов. Щеголь и прилежный прихожанин, тот по поводу и без проявлял достоинство и, видимо, клюнул на поверхностный лоск Джоан, на ее самообладание в стиле Новой Англии, а не на жившего у нее внутри бесенка.

— Мой психоаналитик считает, что у Энди был симбиоз с тобой, а теперь, когда ты ушел, он мне кажется нелепым.

— Он не нелепый, а хороший, верный, красивый, состоятельный. Он прелесть. У него один изъян — любовь к тебе.

— Хочешь сказать, что он защищает тебя от меня? Его пуговицы!.. На застегивание всех своих пуговиц ему требуется не менее четверти часа. Если бы шили мужские костюмы-четверки, он бы носил такие. А мытье!.. Он каждый раз моет все.

— Хватит! — не выдержал Ричард. — Прекрати все это мне рассказывать!

Но у нее уже кружилась голова среди вращающихся зеркал ее измен, лицо так разгорелось, вся она так трепетала, что официантка, наливая им кофе, сочувственно хихикала. Лицо Джоан уже напоминало цветом пион, бледно-голубые глаза стали почти прозрачными. Он разглядел сквозь ее слова, что она хотела сказать: эти любовники, пусть мы их и любим, не мы, они не так священны, как реальность. Реальность — это мы. У нас дети. Мы отдавали друг другу наши юные тела. Мы давали обещание вместе состариться.

Джоан рассказала об одном случае у нее дома, то есть в доме, раньше принадлежавшем им обоим, когда внезапно заявился водопроводчик. Ричарду пришлось смеяться вместе с ней. Проблемы с трубами были старой шуткой, непрекращающейся сагой.

— Звонок в дверь. Врывается мистер Келли — ну, ты знаешь, как в спальне слышно все происходящее на кухне, мы сами от этого страдали... — Она подняла глаза, чтобы убедиться, что он понял намек. Он кивнул, она продолжила: — В самый ответственный момент! — И жестом, родственным постукиванию пальцем по ладони в машине, на которое он когда-то обратил внимание, она изобразила в воздухе букву «о», словно собралась написать все слово «ответственный». Движение было энергичное, но робкое, изящное, но неуверенное, доверчивое; он понял весь его смысл, понял и другое: что она никогда, никогда не перестанет жестикулировать у него внутри, что бы их ни разлучило, даже смерть — ее жесты останутся, высеченные в хрустале.